

Б И Б Л И О Т Е К А

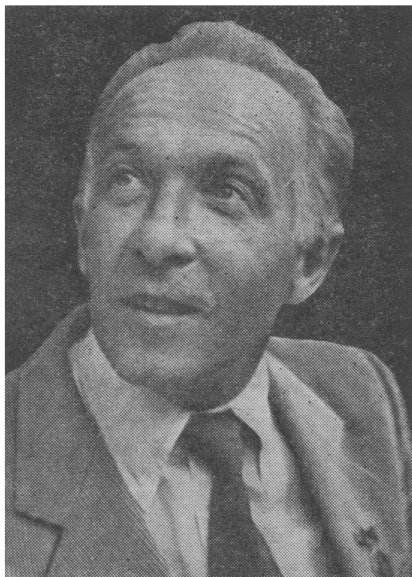
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 29

1987



Станислав ЛЕСНЕВСКИЙ

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

З Е М Л Я П О Э Т А

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 29

Станислав ЛЕСНЕВСКИЙ

ЗЕМЛЯ ПОЭТА

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1987

Станислав ЛЕСНЕВСКИЙ

Станислав Стефанович Лесневский родился в 1930 году в Оренбурге. Окончил отделение русского языка и литературы филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Работал учителем на Алтае и в Красноярске, редактором в Москве. Член Союза писателей СССР.

Автор книг «Завещанное, заветное», «Путь, открытый взорам», «Музыка революции», «Я к вам приду...» и других. Книгу «Земля поэта» составили статьи и очерки о патриотической теме русской поэзии, о памятных литературных местах.

«РОДИНА РУССКОЙ ПОЭЗИИ...»

В. ЖУКОВСКИЙ

Душа к возвышенной душе твоей летела...

А. Пушкин

29 января (9 февраля) 1783 года в селе Мишенском Белевского уезда Тульской губернии родился будущий великий русский поэт Василий Андреевич Жуковский. Шестнадцать лет и несколько месяцев отделяют эту дату от дня рождения основоположника новой русской литературы.

В 1815 году прославленный автор «Светланы» и «Певца во стане русских воинов» навестил в Царскосельском лицее своего юного преемника. «Я сделал еще приятное знакомство,— писал Жуковский П. А. Вяземскому,— с нашим молодым чудотворцем Пушкиным. Я был у него на минуту... Милое, живое творение! Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу. Это надежда нашей словесности... Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет».

В 1816 году, вспоминая эту встречу, Пушкин в стихотворении «К Жуковскому» просил: «Благослови, поэт...». Называя имена своих поэтических учителей — Карамзина, Дмитриева и Державина, Пушкин обращался к Жуковскому:

Могу ль забыть я час, когда перед тобой
Безмолвный я стоял, и молнийной струей
Душа к возвышенной душе твоей летела
И, тайно съединясь, в восторгах пламенела...

В 1818 году Пушкин пишет пророческие строки «К портрету Жуковского», изумляющие сегодня своей непреклонной верой:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.

Пушкин, даже 19-летний, слов на ветер не бросал, и не изысканная вежливость, а безошибочное историческое чувство — в убежденном: «Пройдет веков завистливую даль...». Пушкина не остановило название книжечки Жуковского — «Для немногих», и он поверил старшему другу, учителю гармонии.

Вряд ли Пушкин понял буквально смысл дарственной надписи Жуковского на своем портрете: «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокаторжественный день, в который он окончил свою поэму «Руслан и Людмила», 1820, марта 26, великая пятница». Пушкин, в сущности, никогда не принял бы титул «победителя» над Жуковским. Пушкин никогда не считал своего учителя «побежденным».

О переводе Жуковским «Шильонского узника» Байрона Пушкин в сентябре 1822 года в письме Н. Гнедичу отзывается с восхищением: «Перевод Жуковского est un tour de force¹. Злодей! в бореньях с трудностью силач необычайный! Должно быть Байроном, чтоб выразить с столь страшной истиной первые признаки сумасшествия, а Жуковским, чтоб это перевыразить». И добавляет: «Мне кажется, что слог Жуковского в последнее время ужасно возмужал, хотя утратил первоначальную прелесть. Уж он не напишет ни Светланы, ни Людмилы, ни прелестных элегий 1-ой части Спящих дев. Дай Бог, чтоб он начал создавать».

Известно, что Пушкин счел необходимым вступить в полемику с А. Бестужевым, В. Кюхельбекером, К. Рылеевым, нападавшими на творчество Жуковского с позиций декабристской литературы. 25 января 1825 года Пушкин пишет из Михайловского К. Рылееву (оспаривая мнение А. Бестужева): «...не совсем соглашаюсь с строгим приговором о Жуковском. Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? потому что зубки прорезались? Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности; к тому же переводный слог его останется всегда образцовым. Ох! уж эта мне республика словесности. За что казнят, за что венчают?»

Точка зрения А. Бестужева, В. Кюхельбекера и К. Рылеева на поэзию Жуковского (мнения их, по сути, совпадают) исторически объяснима и оправдана идейно-художественными целями декабризма. Пушкин, будучи душой с героями 14 декабря, смотрел и дальше и глубже.

В исторической перспективе поэзия Жуковского действительно является символической «кормилицей» человечности русской поэзии.

¹ Верх мастерства (франц.).

Пушкин преклонялся перед нравственной чистотой, честностью и прямою Жуковского, который, будучи монархистом по убеждениям, оставался верен голосу своей человеческой и гражданской совести. Летом 1825 года Пушкин говорит в письме А. Бестужеву: «Так! мы можем праведно гордиться... Наши таланты благородны, независимы... Прочти послание к Александру (Жуковского 1815 года). Вот как русский поэт говорит русскому царю». И эти слова Пушкина многое объясняют в смелой, гуманной и благородной миссии Жуковского — верного защитника русских писателей.

И у Пушкина и Жуковского был редчайший дар угадывать и творить волю истории в культуре. Явления Жуковского в жизни и судьбе Пушкина кажутся предначертанными, начиная с тех дней, когда Пушкин ребенком видел Жуковского в доме своего дяди, поэта В. Л. Пушкина, и в доме своих родителей, вплоть до последних минут жизни гения. Это отношения, в которых было много и любви, и драматизма, обрисовывают во всей сложности и во всем величии «пушкинскую роль» Жуковского.

29 января 1837 года, после полудня, Василий Андреевич Жуковский написал последнее сообщение, которое могли прочесть многочисленные люди, спешившие к петербургскому дому на Мойке: «Больной находится в весьма опасном положении».

«Ударило два часа пополудни, и в Пушкине осталось жизни на три четверти часа», — рассказывает Жуковский в письме к отцу поэта, С. Л. Пушкину. В этом поразительном документе есть строки, запечатлевшие последний облик Пушкина. «Таков был конец нашего Пушкина», — завершает далее Жуковский. Сохранился рисунок Жуковского, передающий эти прощальные минуты. По его указанию была снята посмертная маска Пушкина. А строки письма к отцу поэта были переложены Жуковским в стихи, остановившие великое и трагическое мгновение:

Он лежал без движенья, как будто по тяжелой работе
Руки свои опустив. Голову тихо склоня,
Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем
Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза,
Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
Что выражалось на нем, — в жизни такого
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
Пламень на нем; не сиял острый ум;
Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнилось мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось: что видишь?

Жуковский вписал эти стихи в незаполненный альбом, принадлежавший Пушкину, и подарил альбом поэтессе Е. П. Ростопчиной. В письме к отцу поэта, рассказывая о 29 января, Жуковский между прочим говорит: «...Это был день моего рождения». Так многозначительно совпал день смерти Пушкина с днем рождения его старшего друга и учителя. И это действительно, во всей своей горести, самый высокий, самый исторический день в жизни и судьбе Жуковского. Оглядываясь на этот миг, видим рядом Пушкина и Жуковского, разлученных, но и соединенных, и уже навеки живых, навеки неразлучимых. И не только в истории, в минувшем, а где-то там, впереди, всегда перед глазами, в бессмертной легенде.

В «Полярной звезде» за 1823 год, в статье «Взгляд на старую и новую словесность» Александр Бестужев писал: «С Жуковского и Батюшкова начинается новая школа нашей поэзии. Оба они постигли тайну величественного, гармонического языка русского...» Жуковский, Батюшков, Пушкин, по определению А. Бестужева, составляют наш поэтический триумvirат.

В 1843 году В. Г. Белинский начинает публикацию цикла своих статей «Сочинения Александра Пушкина». Во второй из них — обширный и продуманный очерк творчества Жуковского. «Неизмерим подвиг Жуковского и велико его значение в русской литературе!» — восклицает критик. Белинский утверждает, что «романтическая муза Жуковского дала «русской поэзии душу и сердце»; он формулирует свой классический вывод о том, что Жуковский «имеет великое историческое значение для русской поэзии вообще: одухотворив русскую поэзию романтическими элементами, он сделал ее доступною для общества, дал ей возможность развития, и без Жуковского мы не имели бы Пушкина».

В 1883 году было широко и душевно отмечено столетие со дня рождения В. А. Жуковского. Последний оставшийся в живых друг поэта, 85-летний доктор Карл Карлович Зейдлиц, знавший Жуковского сорок лет, издал прекрасную книгу «Жизнь и поэзия В. А. Жуковского». Были произнесены многие хорошие речи и опубликованы интересные статьи. И все же нельзя было не ощутить, что Жуковский постепенно перестает восприниматься как живое явление, словно растворившись в Пушкине. Однако именно поэзия, литература готовила новое рождение Жуковского. Ведь именно Жуковский стоял у истоков творчества не только Пушкина, но и Гоголя, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, Фета, Достоевского, Полонского, Апухтина, Вл. Соловьева, Александра Блока...

В 1897 году Владимир Соловьев напомнил, что новая, «истинно человеческая поэзия в России» ведет свое начало с элегии В. А. Жуковского «Сельское кладбище» (вольный перевод элегии Т. Грея, написанный осенью 1802 года в селе Мишенском, близ Белева, и напечатанный в «Вестнике Европы» Н. М. Карамзина). Об этом стихотворении Вл. Соловьева «Родина русской поэзии» (посвящено сыну поэта, художнику Павлу Жуковскому, и опубликовано в том же журнале, но почти через

сто лет). Действительно, тульская земля, Белев, Мишенское, где есть холм «Греева элегия», куда приходил Жуковский, деревенское кладбище, где покоятся крестьяне, — вот лирический исток произведения, которое Жуковский считал началом своего творчества...

На сельском кладбище явилась ты недаром,
О гений сладостный земли моей родной!
Хоть радугой мечты, хоть юной страсти жаром
Пленяла после ты, — но первым лучшим даром
Останется та грусть, что на кладбище старом
Тебе навял Бог осеннею порой.

В это время уже писал первые стихи юноша Александр Блок.

В автобиографии Блок рассказывает об истоках своего творчества: «Первым вдохновителем моим был Жуковский». Юный Блок в ответе на семейную анкету «Признания» записывает в 1897 году, что его любимые русские прозаики — Гоголь, Пушкин, а любимые русские поэты — Пушкин, Гоголь, Жуковский. Гоголь для Блока и поэт, наверно, прежде всего — поэт.

В автобиографической анкете 1915 года Блок, в сущности, создавший к тому времени почти все свои лирические шедевры, на вопрос, «какие писатели оказали наибольшее влияние», отвечает: «Жуковский, *Владимир Соловьев*, Фет». Блок выбрал имена очень лично, по силе непосредственного влияния на него самого. Подчеркнуто имя поэта, необычайно много значившего для автора «Стихов о Прекрасной Даме» (и не только в юношескую пору). Первым остается имя Жуковского.

В 1905 году Блок пишет рецензию на книгу академика А. Н. Веселовского «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». Блок заканчивает рецензию лирическим утверждением живого значения поэзии Жуковского. В сущности, поэт спорит с литературоведом, говоря о своем «первом вдохновителе»: «Он был — лирик и отдавал «себя», свою душу. Напрасно жаловаться, что между нами осталось мало людей, знающих и понимающих Жуковского. Есть еще такие, для которых его стихи звучат. Никогда «младость» не перестанет «вздыхать о славе» и не предастся серой уравнилельной пошлости». И далее: «Мы не согласны, что от Жуковского осталась только «правда настроения». Жуковский подарил нас мечтой, действительно прошедшей «сквозь страду жизни». Оттого он наш — родной, близкий».

Одним из первых издательских начинаний Советской власти стал выпуск сочинений русских классиков, и в том числе В. А. Жуковского. В 1918 году литературно-издательский отдел Комиссариата народного просвещения выпускает в Петрограде Полное собрание сочинений В. А. Жуковского в трех томах. По-новому звучали для нас строки поэта:

Жить для веков в величии народном,
Для блага всех — свое позабывать,
Лишь в голосе отечества свободном
С смирением дела свои читать.

Известно, что в библиотеке В. И. Ленина в Кремле были представлены и сочинения В. А. Жуковского, а также книга А. Н. Веселовского о поэте. Когда некоторые критики высказали сомнения в необходимости издания произведений Жуковского, то Н. К. Крупская выступила в «Правде» в феврале 1919 года со статьей «Неосновательные опасения», в которой писала, что «рабочих охранять от влияния Жуковского совершенно излишне» (см. книгу Владимира Лазарева «Уроки Василия Жуковского», М., «Правда», 1984 г.).

Есть вечные, «наивные» вопросы человеческого бытия. Маяковский спрашивал: «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит это кому-нибудь нужно?.. Значит — это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда?!» В сущности, таков и вопрос Жуковского. Жуковский знал, что это необходимо: у него был гармонический взгляд на мир, хотя и исполненный драматизма.

В замечательном стихотворении «Памяти В. А. Жуковского» Ф. И. Тютчев сказал:

Душа его возвысилась до строю:
Он стройно жил, он стройно пел...

Есть прелесть ранней образности, кажущейся простой, но на самом деле утонченной, как звучание клавирина, как живопись древнейшей иконы или евангельская легенда, как народное лирическое причитание, как деревенское кружево или деревянный узор наличников... Но и эти сравнения условны, приблизительны, ибо Жуковский соединил психологический лаконизм доэлектрической и допаровой старины с изощренностью своего культурного опыта и европейским кругозором.

Для приближения к Жуковскому нам надо хотя бы на время обойтись без этого извиняющегося «историзма», который пытается оправдать наших допотопных предков: «Старинные люди, мой батюшка». И не спускаться к ним с высот двадцатого века, загроможденного сложными достижениями, а поднять взор свой и увидеть предков вверху и впереди, на высоте уже немислимого и невозможного для нас простодушия:

Отчизне кубок сей, друзья!
Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
Поля, холмы родные.
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,

Златые игры первых лет
И первых лет уроки,
Что вашу прелесть заменит?
О родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

«Певец во стане русских воинов» озарен 1812 годом, а позже будут «Бородино» и «Родина» Лермонтова, и песни России Тютчева, Некрасова, Блока, Есенина — бесконечная песнь Отчизне, а песня Жуковского не затеряется, простая и священная, «и вечный бой», и всегда — «Певец во стане русских воинов». Это уже сказано обо всем, что было и будет, как в «Слове о полку Игореве» и «На поле Куликовом». «Я не первый воин, не последний...»

Чтобы понять древнего иконописца, нам не нужно скрывать от самих себя, что мы видим творчество верующего человека; напротив, мы понимаем, что вера была условием его таинственной и простой работы. Так и для Жуковского прошла пора оговорок. Нет, для нас прелесть «Светланы» (1808—1812) именно в ее ранней, допушкинской образности. Ведь это уже недостижимо! Потом будут и Татьяна Ларина, и Наташа Ростова, но уже никто, кроме Жуковского, так не скажет, и не повторится Светлана, как не вернется картина, похожая на полотна Венецианова:

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали...

С мыслью о «Светлане» Жуковского написана пятая глава «Евгения Онегина» Пушкиным, и сам образ Татьяны, что «верила преданьям простонародной старины». Но это не отменяет и не заменяет наивного обаяния «Светланы», которая пленяет людей, не верящих в гаданья и все же мечтающих о чудесном...

Итак, Жуковский — это чудесное, тревожащее обыденный покров жизни или взламывающее сонный распорядок обычаев, привычек, трафарета. Жизнь таит невозможное, необычайное, несказанное. И задолго до Тютчева пишет Жуковский свое «Невыразимое» (1819).

Но то лишь предчувствие тютчевского хаоса; раздирающих сомнений Жуковский не ведает и ощущает «сие к далекому стремленье», «обворажающего глас»... Вот подлинное лирическое открытие Жуковского: в человеке звучит бесконечность, весь мир обретает голос. Этот голос, это присутствие «святыни с вышины» Жуковский, по романтической традиции, называл Гением. Пушкину был дорог этот образ, он любил стихотворение Жуковского «К мимо пролетевшему знакомому Гению» (1819). Гений, в ощущении Жуковского, не всегда с человеком, но только в лучшие минуты жизни, хотя и всегда памятен сердцу.

Ах! не с нами обитает
Гений чистый красоты;
Лишь порой он навещает
Нас с небесной высоты;
Он поспешен, как мечтанье,
Как воздушный утра сон;
Но в святом воспоминанье
Неразлучен с сердцем он!

(«Лалла Рук», 1821)

«Гений чистой красоты»... Кто не помнит этой строки, кому не звучит она вместе с мелодией, кто не назовет имени лирической героини Пушкина... И мы редко вспоминаем, что эта строка и самый образ «гения красоты» родились в поэзии Жуковского... Строка эта — и ключ к поэзии Жуковского и Пушкина, и емкое, сжатое свидетельство неразделенности великих русских поэтов, давших нам гармонический язык красоты, о котором поэзия никогда не забывает — и в муках, и в борениях, и во встречах с трудной правдой всей жизни.

Жуковский открыл лирический путь к единству человека с миром, и Пушкин с юных лет живет в атмосфере возвышенного и человеческого лиризма Жуковского. Это романтическое дыхание перешло ко всей русской поэзии, как «гений чистой красоты».

Но все, что от времен прекрасных,
Когда он мне доступен был,
Все, что от милых темных, ясных
Минувших дней я сохранил —
Цветы мечты уединенной
И жизни лучшие цветы, —
Кладу на твой алтарь священный,
О Гений чистой красоты!

(«Я Музу юную, бывало...», 1822—1824)

Пушкин высоко ценил стихотворение Жуковского «К портрету Гёте» (1819)—идеальный образ художника, равного своему Гению:

Свободу смелую приняв себе в закон,
Всезрящей мыслию над миром он носился.
И в мире все постигнул он —
И ничему не покорился.

На эти строки откликнется Горький и скажет: «Здесь в четырех строках не только дан очерк Гёте — это выше Гёте. Здесь заключен общечеловеческий лозунг: — Служи свободе, все познавай, ничему не покоряйся! Таких строк немного в литературе мира».

Может показаться, что идеал Жуковского — иной. Ведь он, по общему представлению, не был борцом, и в его поэзии постоянны ноты скорби, страдания, смирения: «Смертный, силе, нас гнетущей, покоряйся и терпи» («Людмила», 1819). Крушение надежд на счастье отозвалось постоянным ропотом в его стихах. Не случайно Жуковский перевел такие строки Гёте:

Кто слез на хлеб свой не ронял,
Кто близ одра, как близ могилы,
В ночи, бессонный, не рыдал —
Тот вас не знает, вышни силы!

Мрачны, драматичны судьбы героев многих баллад и поэм, переведенных Жуковским. Но все, о чем пишет Жуковский, всегда поэтизируется, гармонизируется, подчиняется «гению чистой красоты». Перед нами упорный художник — не сломленный судьбой человек, но повелитель мира, а мир — через Гения — всегда принадлежит поэту. Поражает своей обширностью, многообразием круг сюжетов и героев произведений, переведенных Жуковским. бесконечность ритмико-интонационных поворотов стихотворной речи этого «гения перевода» (по определению Пушкина). Отмечалось, что предвосхищает лермонтовского «Мцыри» переведенный Жуковским «Шильонский узник» Байрона.

«...Каждый стих в переводе «Шильонского узника» дышит страшной энергиею...» — отмечал Белинский. В переводе баллады Р. Саути «Суд Божий над епископом» находили черты грядущего Некрасовского стиля.

Баллады Гёте, Шиллера, В. Скотта, Уланда, Гердера, переведенные Жуковским... Редкостный шедевр — перевод стихотворения И. Цедлица «Ночной смотр» с его знаменитым рефреном: «В двенадцать часов по ночам...». Подвиг последних лет жизни Жуковского — перевод «Одиссеи» Гомера... А ведь это далеко не все!.. «Наль и Дамаанти»... «Рустем и Зораб»... «Камоэнс»... Поражает воля Жуковского к непрерывным и подчас объемным творческим трудам. Поэт «присвоил» русской поэзии целые национальные миры, со своими красками, обычаями, характерами. И остался русским поэтом. «И в мире все постигнул он — и ничему не покорился».

Последние годы Василий Андреевич Жуковский вынужденно жил с семьей за границей. Болезнь жены и собственное нездоровье не позволяли вернуться в Россию, хотя сборы велись постоянно. Скончался поэт в Баден-Бадене 19 апреля 1852 года. Выполнена последняя воля Жуковского — тело его перевезено в Россию и похоронено в Петербурге, на

кладбище Александро-Невской лавры, рядом с могилой Н. М. Карамзина, который был учителем и другом Жуковского.

Одно из своих последних стихотворений — «Царскосельский лебедь» Жуковский написал для дочери в конце 1851 года, описав в нем старого лебедя, который жил в Царском Селе и, умирая, «пел, прощаясь с жизнью, гимн свой лебединый!».

А когда допел он — на небо взглянувши —
И крылами сильно дряхлыми взмахнувши —
К небу, как во время оно бывало,
Он с земли рванулся... и его не стало
В высоте... и навзничь с высоты упал он;
И прекрасен мертвый на хребте лежал он,
Широко раскинув крылья, как летящий,
В небеса вперяя взор, уж не горящий.

«О СЕРДЦЕ, ПОЛНОЕ ТРЕВОГИ...»

Ф. ТЮТЧЕВ

*А он из глубины полуночных небес —
Он сам глядит на нас пророческой звездой.*

Ф. Тютчев

«Мы, русские, переживаем эпоху, имеющую не много равных себе по величию. Вспоминаются слова Тютчева:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...

.

«Мир и братство народов» — вот знак, под которым проходит русская революция» (Александр Блок, 1918 год).

Федор Иванович Тютчев родился 23 ноября (5 декабря) 1803 года в селе Овстуг Орловской губернии Брянского уезда (ныне в Брянской области).

Через десять лет после смерти Тютчева, в 1883 году, Афанасий Фет сочинил свою многократно цитируемую в литературе «Надпись на книжке стихотворений Тютчева». Эта афористическая «Надпись» давала повод к разным толкованиям. И все же несомненно фетовское определение:

Здесь духа мощного господство,
Здесь утонченный жизни цвет.

Действительно, как заметил в связи с этими строками современный исследователь, «в высших творениях Тютчева органически сочетаются, казалось бы, несоединимые качества: мощь и утонченность» (В. Кожин).

Время подтвердило фетовскую оценку значимости поэзии Тютчева:

Но муза, правду соблюдая,
Глядит — а на весах у ней
Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей.

Точно передано и читательское ощущение: вся поэзия Тютчева воспринимается как одна небольшая, но драгоценная книга. Поистине — вечная книга. Фет писал, что Тютчев — «один из величайших лириков, существовавших на земле».

«Без Тютчева нельзя жить», — сказал Лев Толстой. Тургенев в письме к Фету произносит: «...о Тютчеве не спорят: кто его не чувствует, тем самым доказывает, что он не чувствует поэзии...»

Н. А. Некрасов писал, что стихотворения Тютчева «принадлежат к немногим блестящим явлениям в области русской поэзии» и что талант Тютчева относится к «русским первостепенным поэтическим талантам». Тогда (в 1850 году) стихи Тютчева еще не выходили отдельной книжкой. Выражая пожелание, чтобы она была издана, Некрасов заключал: «...мы можем ручаться, что эту маленькую книжечку каждый любитель отечественной литературы поставит в своей библиотеке рядом с лучшими произведениями русского поэтического гения...»

Достоевский почитал Тютчева как «первого поэта-философа, которому равного не было, кроме Пушкина».

Н. А. Добролюбов находил, что поэзии Тютчева «доступны... и знойная страстность, и суровая энергия, и глубокая дума, возбуждаемая не одними стихийными явлениями, но и вопросами нравственными, интересами общественной жизни».

Одним из «сокровищ» русской литературы, ее «драгоценным кладом» называл Владимир Соловьев «лирическую поэзию Тютчева», «этого несравненного поэта».

Могучая поэзия Тютчева оказалась внутренне созвучна Великому Октябрю. В. И. Ленин «восторгался его поэзией», вспоминает В. Д. Бонч-Бруевич, рассказывая: «В рабочем кабинете Владимира Ильича в Совнарком, на этажерочке около стола, а нередко и на самом столе, можно было видеть томик Ф. Тютчева. Он часто перелистывал, вновь и вновь перечитывал его стихи».

Такова эта «книжка небольшая»...

А между тем Тютчев никогда не стремился к собиранию своих стихов в книги, к изданию этих книг... Два небольших сборника его стихов, вышедших при жизни поэта (в 1854 и в 1868 годы), были изданы, в сущности, без участия Тютчева, а по выходе оставили поэта едва ли не равнодушным к их известности или (вернее) неизвестности...

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется,—
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...

Поэзия Тютчева у своих истоков неотделима от культуры пушкинской эпохи. Наследуя классическую гармонию, Тютчев принимает и выразительность державинско-ломоносовской «архаики», высокое «косноязычие» старинной торжественной речи. С другой стороны, музыкально-романтическая духовность В. А. Жуковского продолжена всем поэтическим строем и видением Тютчева.

Во второй половине двадцатых годов и первой половине тридцатых годов минувшего века, еще при жизни Пушкина, поэзия Тютчева уже обретает впечатляющую художественскую неповторимость.

Л. Н. Толстой отметил именно особенное тютчевское своеобразие стихотворения «Проблеск», написанного не позднее осени 1825 года и зачинающего зрелую лирику поэта, который в едином «звуче» слышит и мироздание, и душевную жизнь: «Как бы эфирною струею по жилам небо протекло!».

В поэзии Тютчева перед человеком, перед человечеством, перед землей распаивается Вселенная:

Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины,—
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.

Тютчев предчувствует какие-то небывалые потрясения и в природе и в жизни людей, своего рода «последний катаклизм». Рушатся старые представления: «В последний раз вы молитесь теперь». Поэт прямо говорит себе: «Мужайся, сердце, до конца: и нет в творении творца! И смысла нет в молитве!» Тютчевские образы преисполнены чувством героико-трагедийного напряжения истории, но не страх, а гордость переживает современник великих событий, «заживо» пьющий бессмертие из чаши «небожителей» («Цицерон», не позднее 1830 года).

Единство человека и мироздания в тютчевской поэзии тревожно, изменчиво, приотливно. Единая душа перетекает от человека к природе, от природы к человеку. «Все во мне, и я во всем!..» Природа говорит

с человеком, открывая свое глубинное начало — «древний хаос». И человек знает природу как родственное существо, а вернее — как самого себя в ином лице:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик—
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Многоликая, как будто видящая нас природа в поэзии Тютчева и радуется вместе с нами в «Весенней грозе» («Люблю грозу в начале мая...») и таинственно, хрупко угасает («Осенний вечер»), и будит древний хаос в душе человека («О чем ты воешь, ветер ночной?»). Поэт безраздельно погружен в этот диалог человека и мироздания.

Целомудренный мир поэта чуждается суетной растраты внутреннего достоинства. И возникает загадочное стихотворение «Silentium!» («Молчание!» — по-латыни). «Молчи, скрывайся и тай и чувства и мечты свои...» — только так поэт может сохранить себя, сосредоточиться на главном, находясь в обществе, которое чуждо поэзии. Стихотворение это очень любили Л. Н. Толстой и Д. И. Менделеев. Оно написано около 1830 года, но передает все одиночество Тютчева, символизирует всю его внутреннюю судьбу. Двадцать два года Тютчев провел на дипломатической службе за границей, но и в Петербурге, в светском обществе, этот блестящий собеседник никогда не раскрывался по-настоящему. Зато, как сказал о Тютчеве И. С. Аксаков, «непостижимым откровением внутреннего духа далась ему та чистая, русская, сладкозвучная, мерная речь, которую мы наслаждаемся в его поэзии...».

Тютчев писал В. А. Жуковскому: «...Я более всего любил в мире: отечество и поэзию...»

Жуковский благословил творческий дар Тютчева. Пушкин опубликовал двадцать четыре стихотворения Тютчева в «Современнике» в 1836 году. Тютчев преклонялся перед своими поэтическими учителями. «Кому ж они не близки, не присущи — Жуковский, Пушкин, Карамзин!» — восклицает Тютчев в стихотворном послании своему другу П. А. Вяземскому, поэту пушкинской и вместе тютчевской поры.

Гибель Пушкина вызывает у Тютчева страстное желание заклеить убийцу поэта как «цареубийцу» и произнести клятву верности памяти гения, осененного «хоругвью горести народной»:

Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..

«Как бы таинственное дело решалось там, на высоте...» Единство поэзии Тютчева придает и ее постоянная сосредоточенность на основных вопросах бытия. Поэт возвращается вновь и вновь к тому, что влекло,

мучило, озаряло смолоду. И в итоге умудренно вникает во все ту же ускользающую тайну. Раздумья Тютчева «закольцованы» и сами собой образуют единую философско-поэтическую книгу, в которой слиты «инстинкт пророчески-слепой», высокая мысль и просветленная страсть...

В августе 1869 года в Овстуге Тютчев в четырех строках вновь очерчивает суть долголетних исканий мысли, неутихающих борений чувства:

Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

Но «сфинкс» манит (манят «демоны глухонемые»), и даже в таком опустошающем выводе сквозит сомнение. Вся тютчевская лирика разгадывает эту «загадку», зачарована «искусом» природы, хотя велико бесстрашие поэтической мысли Тютчева перед лицом мироздания.

17 августа 1871 года, во время последнего своего приезда в Овстуг, Тютчев побывал в брянском селе Вщиже, где на месте древнего княжества сохранились курганы. «От жизни той, что бушевала здесь...» — первая строка стихотворения, которое Тютчев завершил величавым выводом о «всепоглощающей и миротворной бездне» природы.

Но тютчевский неутихательный пантеизм никоим образом не означает для человека отстранения от борьбы, от подвига, от стремления в будущее. Напротив, чем беспощаднее космический ход времен, тем дерзновеннее должен быть человек, убежден поэт.

Есть у Тютчева стихотворение «Два голоса» (1850 год), которое Блок считал своим символом веры. В нем звучат два роковых голоса. Первый голос: «Мужайтесь, о други, боритесь прилежно, хоть бой и неравен, борьба безнадежна!» И второй голос: «Мужайтесь, боритесь, о храбрые други, как бой ни жесток, ни упорна борьба!» Оба голоса бесконечно суровы и трагичны, но во втором, окончательном голосе звучит и высокая героика:

Пускай олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.

И Тютчев не «в горнем Олимпе», где «блаженствуют боги»; он не был ни олимпийцем, ни абстрактным философом. Поэт жил тревогами и страстями времени; мировая политика, судьбы Европы и России глубоко занимали Тютчева вплоть до последних его минут. Природа для Тютчева не предмет холодных умозаключений, но драматическая смена живых состояний, которые едины с душевной жизнью человека. Поэт наделен неутолимой потребностью любить, поклоняться, верить, и ат-

мосфера любви, любовной страсти, воспоминаний о пережитой любви овеивает, проникает всю поэзию Тютчева. Стихи слагаются не «на темы» и не в результате «профессионального» усилия литератора, а как живой дневник, как сама жизнь, и артистизм является словно нечаянной наградой естественности, искренности. Оттого-то вся «книжка небольшая» поэзии Тютчева читается как роман.

Роман этот движет одна «длинная мысль», единое переживание — переживание безмерной ценности жизни, тем большей, чем откровеннее разверзается перед человеком космическая бездна времени. Так чувствуют и герои Льва Толстого и Достоевского. Русское художественное сознание проникается все большей всемирной и вселенской отзывчивостью, а вместе с тем — обостренной чуткостью к трепету жизни, любви, красоты.

Через десятилетия одно чувство соединяет два стихотворения Тютчева, посвященных одной героине: «Я помню время золотое...» (около 1834—1836 года) и «К.Б.» — «Я встретил вас — и все былое...» (26 июля 1870 года). Нерушимо чувство, пронесенное сквозь годы:

Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь,—
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..

Это лирическое «кольцо» вновь подчеркивает, сколь органично и страстно единство поэзии Тютчева — редкостного лирического, лирико-философского романа жизни. Любовь, если взглянуть, это солнце поэзии Тютчева.

«Роман в романе» — в поэзии Тютчева — исполненный драматизма «денисьевский цикл» (1850—1868). Тут весь смысл тютчевского понимания жизни. Ибо если время и космос поглощают все, то залог бессмертия человека — в силе переживаний, в страсти, бросающей вызов звездной бездне, в подвиге любви и служения. Собственно, таков же и «роман» поэта с самой жизнью: «И роковое их слиянье, и поединок роковой...». И в упоении любви, как и в созвучии с природой, и в суровой борьбе человек вырывает у вечности миг бессмертия.

Кажется, мировая поэзия не знает более потрясающего прощания с памятью любви, чем тютчевское «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.». Единственное, что осталось, это взгляд оттуда, откуда нет возврата...

Все темней, темнее над землею—
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Тютчев всегда — в огромном масштабе — в истории, в вечности, в мироздании... И всегда — в земном, зримом — в природе, в современности, в политике, в этом дне, даже в этом миге...

О вещая душа моя!
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия...

Вся эта необыкновенность тютчевского мировосприятия родственна открытиям русской литературы второй половины минувшего века и начала двадцатого столетия. Это не художнический каприз, но особая духовность, отразившая, по верному определению В. Кожина, «вполне реальный рост и расширение личности, характерные для России конца XIX века, — России на пороге величайших в истории потрясений». И если выделить главное, чему было отдано сердце Тютчева, ни с чем не сравнимую любовь, тревогу и надежду всей жизни поэта, имя его всепоглощающей верности, мы должны произнести: Родина, Русь, Россия... Поэт готов был заслонить собою Родину от врагов, все отдать, чтобы выстояла Россия, и стихи Тютчева звучали как патриотический клич в дни героической обороны Севастополя:

Теперь тебе не до стихов,
О слово русское, родное!
Созрела жатва, жнец готов,
Настало время неземное...
.
Тебе они готовят плен,
Тебе пророчат посрамленье, —
Ты — лучших, будущих времен
Глагол, и жизнь, и просвещение!

Так безмерна и непреклонна вера Тютчева в Россию... И чем грозней и трудней час истории, тем сильнее провидческая вера.

О край родной! — такого ополченья
Мир не видал с первоначальных дней...
Велико, знать, о Русь, твое значение!
Мужайся, стой, крепись и одолей!

И в ответ на воинственные милитаристские угрозы с Запада — «прижать к стене» славян, Россию — поэт с гордостью и достоинством утверждает незыблемость рубежей Родины:

Ужасно та стена упруга,
Хоть и гранитная скала,—
Шестую часть земного круга
Она давно уж обошла...

Ее не раз и штурмовали—
Кой-где сорвали камня три,
Но напоследок отступали
С разбитым лбом богатыри...

Стоит она, как и стояла,
Твердыней смотрит боевой,
Она не то чтоб угрожала,
Но... каждый камень в ней живой...

Тютчев мечтал о братстве славянских народов. «Славянский мир, сомкнись тесней...» — звал поэт. Тютчев провидел объединяющую все-славянскую миссию России:

И наречий братских звуки
Вновь понятны стали нам,—
Наяву увидят внуки
То, что снилось отцам!

Единство славянского мира, по мысли Тютчева, должно быть спаяно не «железом и кровью» (девиз Бисмарка), но духовными связями, любовью, «славянским самосознанием». И это единство, как убежден был Тютчев, проложит дорогу всечеловеческому братству. Но каков реальный путь к благородной цели, Тютчев не знал...

Тютчев прозревал «всемирную судьбу России», но не догадывался, волею каких исторических сил Россия обретет эту «всемирную судьбу». И все же поэт называл самодержавие так: «вечный полюс», «вековая громада льдов», «зима железная» («14-ое декабря 1825»).

Еще в николаевскую эпоху Тютчев создает поэтический образ бесконечного людского страдания. Однажды, это было около 1849 года, вспоминает И. С. Аксаков, Тютчев «в осенний дождливый вечер, возвратясь домой на извозничьих дрожках, почти весь промокший», продиктовал дочери стихотворение:

Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой...
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистошимые, неисчислимые,—
Льетесь, как льются струи дождевые
В осень глухую, порою ночной.

В дальнейшем Тютчев с поразительной глубиной судит о русской социально-политической ситуации в канун нового общественного подъема: «...Жизнь народная, жизнь историческая еще не проснулась в массах населения. Она ожидает своего часа, и, когда этот час пробьет, она откликнется на призыв и проявит себя вопреки всему и всем» (1854 год). В начале пятидесятых годов начинается новый этап творчества Тютчева, сближающий его поэзию с Некрасовской.

Жизнь народная в сердце поэта давно. Тютчева особенно ранило то, что он видел на Брянщине, в родном Овстуге... «Моей землячке» — в первой публикации называется стихотворение Тютчева, написанное около 1850 года и посвященное «Русской женщине», — вот его первая строфа:

Вдали от солнца и природы,
Вдали от света и искусства,
Вдали от жизни и любви
Мелькнут твои молодые годы,
Живые помертвуют чувства,
Мечты развеются твои...

Н. А. Добролюбов в статье «Когда же придет настоящий день?» упоминал эти, по его словам, «безнадежно-печальные, раздирающие душу предвещения поэта, так постоянно и беспощадно оправдывающиеся над самыми лучшими, избранными натурами в России».

Всемирный и вселенский взор поэта никогда не был высокомерным и видел тех, кто «как бедный нищий мимо саду бредет по жаркой мостовой» («Пошли, господь, свою отраду...», июль 1850 года). И. С. Тургенев писал, что такие стихи «пройдут из конца в конец Россию...».

Глубинные, душевнейшие, долголетние думы поэта — в пронзительном стихотворении, написанном 13 августа 1855 года по дороге из Москвы в Овстуг, в городке Рославль (входил в Смоленскую губернию). Начинается стихотворение горестной строфой:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

И не случайно Т. Г. Шевченко записал в своем дневнике: «...Я с наслаждением прочитал трехкуплетное стихотворение Ф. И. Тютчева: «Эти бедные селенья». Н. Г. Чернышевский отметил «прекрасные пьесы» Тютчева (в их числе и это стихотворение).

Там же, в Рославле, и в тот же день Тютчев пишет стихотворение, опять-таки словно с «некрасовской» обнаженностью правды:

Вот от моря и до моря
Нить железная скользит,
Много славы, много горя
Эта нить порой гласит.

Севастополь в осаде, «нить железная» — телеграф — доносит трудные вести... И мы вместе с поэтом видим всю Россию — «от моря и до моря», видим и понимаем, какой час переживает родная страна...

В 1857 году в Овстуге Тютчев был свидетелем празднования Успенья и пишет стихотворение, которое в одной из публикаций названо «Народный праздник». Но впечатления поэта не радостны, а тягостны. «Смрад, безобразье, нищета...» — записано в первоначальной редакции. В преддверии отмены крепостного права Тютчев спрашивает:

Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, Свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..

Речь идет не только о крестьянской реформе... Надо, размышляет поэт, излечить «старые, гнилые раны, рубцы насилий и обид», пережитых народом. И самое страшное наследие крепостничества — «растленье душ и пустота»...

А ведь все это Тютчев видел и ощущал с детства... Надо ли удивляться, что в стихах и письмах Тютчева прорываются подчас и жесткие слова о родном селе?.. Этого не следует бояться и не надо забывать: великие русские поэты не были благостны и только умиленны в своем патристическом чувстве, любовь и ненависть переплетались... «Итак, опять увиделся я с вами, места немилые, хоть и родные...» — пишет Тютчев в Овстуге 13 июня 1849 года. В одной из редакций: «Места печальные, хоть и родные...» Вспомним, что около этого же времени (в 1846 году) завершено стихотворение Некрасова «Родина»: «И вот они опять, знакомые места, где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста...» и т. д. — места, где поэт, по его признанию, научился «терпеть и ненавидеть». А вместе с тем сколько у Некрасова и Тютчева признаний в любви к родному краю, народу, русской природе!..

23 июля 1849 года в Овстуге, в то же лето, когда были написаны стихи о «немилых» местах, Тютчев создает изумительный пейзаж, соединяющий мироздание и родное село:

Тихой ночью, поздним летом,
Как на небе звезды рдеют,
Как под сумрачным их светом
Нивы дремлющие зреют...

Усыпительно безмолвны,
Как блестят в тиши ночной
Золотистые их волны,
Убеленные луной...

Тихой ночью, когда отходят давние обиды и врачуются душевные раны, поэт с затаенной любовью смотрит на овстугские хлеба... И в глубине — все та же дума о России... И — обо всем «звездном мире»...

По дороге из Овстуга в Москву 22 августа 1857 года сложилось одно из классических творений Тютчева:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Здесь больше, чем пейзаж, чем «картина природы», это сама Родина, сама Россия... И здесь все надежды поэта, вся его любовь и вера... И какая новая, высшая выразительность приходит в поэзию Тютчева!..

Тютчев хотел бы верить в то, что исконные народные верования, традиционные смирение и христианское милосердие залечат «рубцы насилиий»... И вместе с тем бесстрашный и пророческий взор поэта не мог не видеть близящегося крушения патриархальных устоев. Во что же верить?..

Так рождается знаменитое «внелогическое», стремительное, как русская атака, побеждающее поверх доказательств тютчевское четверостишие (28 ноября 1866 года):

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

И это написал человек, о котором Тургенев сказал: «Ум его, бесспорно, проник во все глубины современных вопросов истории».

И хотя вполне возможно сочинить целую статью или даже книгу в опровержение этой одной строфы Тютчева, труднее объяснить, в чем ее непрекращаемое обаяние и поэтическая власть. Ведь здесь не отрицание ума, но неприятие предвзятого ума, готового «аршина». И вера в тот народный ум, который в свой час найдет свое слово и предложит свой путь. Как сказал Некрасов: «Да не робей за отчизну любезную...»

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит—
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.

Тютчев написал эти строки накануне нового, 1853 года, который он встречал в Овстуге...

В 1871 году дочь поэта — Мария Федоровна Бирилева, при поддержке и участии Федора Ивановича Тютчева, основала в Овстуге школу для крестьян — образцовое двухклассное училище с пятилетним сроком обучения. В 1971 году средняя школа имени Ф. И. Тютчева отмечала свое столетие и была награждена орденом «Знак Почета».

В старом здании школы, помнящем еще Ф. И. Тютчева и его дочь, создан в наши дни большой музей поэта — филиал Брянского объединенного историко-революционного музея. Директор музея Ф. И. Тютчева — Владимир Данилович Гамалин, подлинный энтузиаст своего прекрасного дела. Начинали в 1957 году с одной комнаты; в музее несколько залов-разделов, сотни экспонатов...

Тысячи людей побывали в музее великого русского поэта... Вот строки из книги отзывов... «Здесь видим снова Россию и понимаем, что сделал для нее Тютчев»... «Этот уголок Брянской земли открыл нам Тютчева»... «С трепетом перед памятью Великого Поэта, с чувством гордости за русскую поэзию переступаем мы порог тютчевского музея»... «Побывав в музее Тютчева, светлеешь душой...»

В 1961 году в Овстуге проведен первый Тютчевский праздник поэзии, ставший ежегодным и традиционным... Установлен памятник поэту. А ныне вновь построен усадебный дом Тютчевых (был разобран еще в 1914 году). Здесь открыта новая большая экспозиция музея Ф. И. Тютчева. Возрождается Тютчевский парк... Преображается село Овстуг...

...В августе 1868 года Тютчев на хуторе Гостиловке под Овстугом написал стихотворение «В небе тают облака...», закончив его выражением уверенности:

Чудный день! Пройдут века—
Так же будут, в вечном строе,
Течь и искриться река
И поля дышать на зное.

Сегодня перед всем человечеством — задача охранить, спасти «вечный строй» жизни от «последнего катаклизма». Тревога поэта за все живое еще понятней нам, современникам величайшего противоборства сил мира и сил войны.

Тургенев писал, что Тютчев «создал речи, которым не суждено умереть». Поэзия — воля к бессмертию, воля к жизни. Залог этой воли — народ, сберегающий слово, землю, песню.

Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса.

«Я ЛИРУ ПОСВЯТИЛ НАРОДУ СВОЕМУ...»

Н. НЕКРАСОВ

*И выстраданный стих, пронзительно унылый,
Ударит по сердцам с неведомою силой.*

А. Пушкин

Великую, многострунную песнь родной земли, песнь Родины, России давно уже нельзя расслышать и понять без гордой, горестной, берущей за душу музыки стихов и поэм Николая Алексеевича Некрасова. И невозможно представить, что когда-то не было этой пронзительной мелодии, неотделимой от судьбы и подвига народа. Кажется, некрасовские ноты всегда звучали в симфонии русской природы, русской истории, русского характера, и время только ждало часа, чтобы выдохнуть: «Волга! Волга!.. Весной многоводной...»

Кто не помнит с детства этих и многих других дивных строк, строф и стихотворений великого народного поэта! И чье сердце не сжималось оттого, что радость поэта неизбежно и почти всегда смешана с горечью, гордость преисполнена боли, любовь оказывается невозможна без ненависти, счастье отравлено горем!.. И едва не за каждой светлой строкой бьется строка скорбная...

«Я лиру посвятил народу своему...» — всю жизнь и поэзией Некрасова оправдано это исповедальное признание. И не один борец за народное счастье повторил слова Некрасова, обращенные к Родине:

Но желал бы я знать, умирая,
Что стоишь ты на верном пути,
Что твой пахарь, поля засевая,
Видит ведреный день впереди;

Чтобы ветер родного селенья
Звук единый до слуха донес,
Под которым не слышно кипенья
Человеческой крови и слез.

«Все рожь кругом, как степь живая...» — словно вздохнул поэт, вернувшись на Родину из дальнего путешествия. «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор!»

Поэт особенно любил красоту хлебных полей, слияние крестьянского труда с природой, как бы зреющее народное счастье. «Роскошны вы, хлеба заповедные родимых нив...» — начинаются стихи, вдруг оборванные воспоминанием: «...хлеб полей, возделанных рабами, нейдет мне впрок!» Любовью к крестьянской ниве вдохновлены редкостные строки, сложенные как будто самим народом, самой русской землей: «Меж высоких хлебов затерялся...» Или другое некрасовское чудо — «Коробейники»... «Выди, выди в рожь высокую!» В образе живого хлеба поэт прозревал народное могущество. Так возник героико-трагический некрасовский образ поднимающегося народа в поэме «Кому на Руси жить хорошо»:

В рабстве спасенное
Сердце свободное—
Золото, золото
Сердце народное!

Сила народная,
Сила могучая—
Совесть спокойная,
Правда живучая!

Сила с неправдою
Не уживается,
Жертва неправдою
Не вызывается,—

Русь не шелохнется,
Русь — как убитая!
А загорелась в ней
Искра сокрытая,—

Встали — небужены,
Вышли — непрошены:
Жита по зернышку
Горы nanoшены!

Рать подымается—
Неисчислимая!
Сила в ней скажется
Несокрушимая!

Вот главное, побеждающее чувство, которое мы выносим, омытые музыкой Некрасовской поэзии.

И Некрасова, и Достоевского можно назвать певцами «униженных и оскорбленных», и вместе с тем каждый из них по-разному воплотил свою веру в высокое назначение русского народа, России, в счастливое, достойное и вольное будущее Родины. Достоевский глубоко понял поэзию Некрасова и отозвался на нее всем существом. В 1877 году, прочитав «Последние песни» Некрасова, Достоевский писал: «Страстные песни и недосказанные слова, как всегда у Некрасова, но какие мучительные стоны больного! Наш поэт очень болен...» И дальше, в заключение: «Но прочтите эти страдальческие песни сами, и пусть вновь оживет наш любимый и страстный поэт! Страстный к страданью поэт!..»

А. Г. Достоевская вспоминает, что когда Федор Михайлович «узнал о кончине Некрасова, то был огорчен до глубины души. Всю ночь он читал вслух стихотворения усопшего поэта, искренне восхищаясь многими из них и признавая их настоящими перлами русской поэзии». Сам Достоевский рассказывает: «Короче, в эту ночь я перечел чуть не две трети всего, что написал Некрасов, и буквально в первый раз дал себе отчет: как много Некрасов, как поэт, во все эти тридцать лет занимал места в моей жизни!» Достоевский говорит, что в начале его знакомства с Некрасовым было между ними «несколько мгновений», в которые обрисовался «этот загадочный человек самой существенной и самой затаенной стороной своего духа. Это именно, как мне разом почувствовалось тогда, было раненое в самом начале жизни сердце, и эта-то *никогда не заживавшая* рана его и была началом и источником всей страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь».

Прощаясь с Некрасовым, Достоевский свою речь опять-таки «начал с того, что это было раненое сердце, раз на всю жизнь, и незакрывшаяся рана эта и была источником всей его поэзии, всей страстной до мучения любви этого человека ко всему, что страдает от насилия, от жестокости необузданной воли, что гнетет нашу русскую женщину, нашего ребенка в русской семье, нашего простолюдина в горькой, так часто, доле его». Достоевский высказал убеждение, что «в поэзии нашей Некрасов заключил собою ряд тех поэтов, которые приходили со своим «новым словом»... В этом смысле он... должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым».

«Раненое сердце», «страстный к страданью поэт»... Кажется, никто не сказал о Некрасове с таким проникновением в самое затаенное и заветное начало этого «загадочного человека», которого тяжкая молодость да и вся жизнь заставляли нередко быть жестким, по крайней мере внешне, а страстная натура бросала в неистовые увлечения игрой, охотой, чтобы в азарте приглушить не затухающую с детства, с юности тоску и боль «раненого сердца». Достоевский угадал и биографический, личностный источник некрасовского дара сострадания: «Он говорил мне тогда со слезами о своем детстве, о безобразной жизни, которая измучи-

ла его в родительском доме, о своей матери — и то, как говорил он о своей матери, та сила умиления, с которой он вспоминал о ней, рождали уже и тогда предчувствие, что если будет что-нибудь святое в его жизни, но такое, что могло бы спасти его и послужить ему маяком, путевой звездой даже в самые темные и роковые мгновения судьбы его, то уж, конечно, лишь одно то первоначальное детское впечатление детских слез, детских рыданий вместе, обнявшись, где-нибудь украдкой, чтоб не видали (как рассказывал он мне), с мученицей матерью, существом, столь любившим его. Я думаю, что ни одна потом привязанность в жизни его не могла бы так же, как эта, повлиять и властительно подействовать на его волю и на иные темные неудержимые влечения его духа, преследовавшие его всю жизнь».

Некрасов не однажды в своих стихах возвращался к образу матери — Елены Андреевны. Ей посвящена одна из самых страстных в русской и мировой поэзии исповедей раненой совести — стихотворение Некрасова «Рыцарь на час»:

Повидайся со мною, родимая!
Появись легкой тенью на миг!
Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для других.
С головой, бурям жизни открытою,
Весь свой век под грозою сердитою
Простояла ты, — грудью своей
Защищая любимых детей.

.....
Я кручину мою многолетнюю
На родимую грудь изолью,
Я тебе мою песню последнюю,
Мою горькую песню спою.
О прости! то не песнь утешения,
Я заставлю страдать тебя вновь,
Но я гибну — и ради спасения
Я твою призываю любовь!

Именно к образу матери зывает поэт, к памяти матери он обращается и создает сильнейшее заклинание совести, которое всем сердцем приняла и взяла с собой в свой героический путь революционная русская молодежь, так что не один славный юноша повторял вслед за этим:

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!

И сейчас нам не столь важно, какие конкретные обстоятельства сто-яли за этой сыновней мольбой поэта. И не в том дело, что «Рыцарь на час» может нравственно и психологически объяснить некоторые эпизо-ды биографии Некрасова, в том числе и те, что произошли после напи-сания стихов. Сумма фактов не всегда дает ключ к тайне поэзии. И до-тошное внимание к личности писателя может оставить нас и с пустыми руками перед лицом чуда поэзии, творчества, и мы не сумеем понять, откуда взялись, например, «Братья Карамазовы» или «Рыцарь на час». Блок выдвигал иное понятие — «душа писателя», которое дает ключ к бессмертному началу творчества. Достоевский как раз и говорил о ду-ше, которая живет в творениях Некрасова, ставших «верным отголо-ском человеческого страдания». И в том числе страданий от несоответст-вия душевной жизни поэта и его реальной доли — «у времени в плену».

История культуры едва ли знает такой же масштабный пример совме-щения в одном человеке и великого поэтического дара, и замечатель-ной практической уместности деятеля литературы, дальновидного органи-затора литературной жизни — к тому же в изматывающей обстановке репрессий, реакции, преследований демократической печати и передо-вых писателей. Таким человеком был Николай Алексеевич Некрасов, прошедший путь от литературного поденщика в молодости (по его собственному признанию) до редактора лучших русских журна-лов — «Современника» и «Отечественных записок», явившихся боевыми органами революционной демократии. Через эти некрасовские врата в литературу входят Достоевский, Лев Толстой, Гончаров, Чернышев-ский, Добролюбов. Печатает Некрасов и Белинского, Тургенева, Остров-ского, Салтыкова-Щедрина. Некрасов, в сущности, впервые по досто-инству оценивает поэзию Тютчева и Фета. Все это, вместе взятое, как верно сказал К. И. Чуковский, есть «беспримерный общественный под-виг, до сих пор еще не оцененный».

Литературно-общественная роль, которую взял на себя Некрасов, заставляла иногда идти на компромиссы. В. И. Ленин, высоко ценив-ший и любивший поэзию Некрасова, писал в статье «Еще один поход на демократию» в 1912 году: «Некрасов колебался, будучи лично слабым, между Чернышевским и либералами, но все симпатии его были на сто-роне Чернышевского. Некрасов по той же личной слабости грешил нот-ками либерального угодничества, но сам же горько оплакивал свои «гре-хи» и *публично каялся* в них:

Не торговал я лирой, но, бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры *звук неверный* исторгала
Моя рука...»

Стихотворение, которое цитирует В. И. Ленин, Некрасов написал в ответ на стихотворение «Не может быть», подписанное «Неизвестный друг». Молодая писательница, скрывшаяся за этой подписью, прислала

свое сочинение Некрасову. Она говорила в нем, что не верит обвинением в неискренности поэта. Некрасов отвечает всем друзьям своей музы, отвечает современникам и потомкам: «Я призван был воспеть твои страдания, терпением изумляющий народ!» Рассказывает о том, как сложился душевный строй его поэзии:

Каких преград не встретил мимоходом,
С своей угрюмою Музой на пути?..
За каплю крови, общую с народом,
И малый труд в заслугу мне сочти!

В исповеди, в покаянии, в сомнениях, в муках совести Некрасов всегда открыт, всегда перед нами, «на людях». По словам современного исследователя, «своеобразие лирики Некрасова заключается в том, что в ней как бы разрушается лирическая замкнутость, преодолевается лирический эгоцентризм» (Н. Скатов). И это стремление доводится до предела, до крайности — до постоянных горьких сомнений в самой поэзии собственного стиха. Это искренность, обнажающая «пытку творческого духа», который выносит на общий суд и свое суровое, сдержанное отношение к произносимой поэтической речи: «Нет в тебе поэзии свободной, мой суровый, неуклюжий стих! Нет в тебе творящего искусства... Но кипит в тебе живая кровь, торжествует мстительное чувство, догорая, теплится любовь...» Поэзия стремится явить себя как бы помимо поэзии, в прямом «сгорании» жизни, но оттого стих обретает особую, захватывающую искренней горечью силу и оказывается действительно творящим, притом именно благодаря своей «непоэтичности», «суровости», «неуклюжести». Чернышевский в письме к Некрасову, цитируя эти строки, спорит с ними и говорит об энергии некрасовского стиха, о его внутренней свободе.

Казавшаяся «непоэтической», лирика Некрасова с годами и десятилетиями все более властна над нами своей душевной правдивостью, «безыскусной» прямоотой и выступает как настоящее поэтическое искусство. Драматическая история любви поэта открывается в лирическом цикле, посвященном Авдотье Яковлевне Панаевой («Мы с тобой bestолковые люди...», «Прости, не помни дней паденья...», «Тяжелый крест достался ей на долю...»), других шедеврах.

О Некрасове, к сожалению, порой еще судят лишь на основании его же строк: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» (в стихотворении «Поэт и гражданин» их произносит гражданин). Но сегодня все чаще и все глубже интерес к Некрасову-художнику, к Некрасову-поэту, что неотделимо от Некрасова-гражданина. Влечет загадка некрасовского лиризма, тайна некрасовской стихии, покоряющей наши сердца, словно ропот лесов, ширь полей, разливы рек, полет песни. Некрасов писал Л. Толстому: «...Прежде всего выговариваю себе право, может быть, иногда на рутинный и даже фальшивый звук, на

фразу, то есть буду говорить без оглядки, как только и возможно говорить искренно». Об одном из писателей-современников Некрасов говорит: «Всякий порыв лиризма — его пугает, безоглядная преданность чувству — для него невозможна». Обратив внимание на эти ключевые высказывания поэта, Е. Ермилова отмечает, что таков у Некрасова «сознательный и продуманный принцип его поэзии, подчиненный заданию предельно искреннего и откровенного самовыражения». Характер такого лиризма, по верному наблюдению исследователя, непосредственно связан с обращением поэта к народной жизни, ибо «главное в творчестве Некрасова — тесное единство безоглядного лиризма и растворения в народной правде, их прямая взаимозависимость». Это и значило, что гражданственность Некрасова обрела самобытное художественное воплощение: «Будь гражданин! Служа искусству...» Открытость народной правде и безоглядность лиризма создали неповторимый некрасовский ритм, в котором ведущей является «интонация народного причитания, сливающаяся с интонацией авторского голоса».

Одно из великих лирических творений гражданской музыки Некрасова — «Размышления у парадного подъезда» включает в единую авторскую речь и проповедь, и скорбный рассказ, и «витийства грозный дар», и народный плач, ставший песней:

Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется —
То бурлаки идут бечевой!..
Волга! Волга!.. Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля, —
Где народ, там и стон... Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?..

Грозная ораториальность поэзии Некрасова при всей ее рыдающей и скорбной интонации музыкально создает величественный образ народа, чьи силы растут и только ждут своего часа: «Ты проснешься ль, исполненный сил...» Пусть даже поэт в мучительном сомнении, но стихи его — отзвук хора народной жизни.

Казалось бы, невероятно, что поэт такого скорбного лирического сознания творит великий национальный эпос, проникнутый во всем его драматизме верой в светлые, гармонические начала русской народной жизни. Цепь таких поэм Некрасова, как «Тишина», «Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Русские женщины», «Дедушка» и особенно «Кому на Руси жить хорошо», воплощает красоту и достоинство главнейших ценностей национального бытия в демократическом осознании. Некрасов населил свой эпос характерами тружеников, подвижников, бунтарей,

богатырей, холопов... Созданная поэтом картина русской жизни удивительна по размаху, многоликости, красочности. И как любовно в этой картине нарисованы дети! Истинно некрасовская особенность... «О, милые плуты! Кто часто их видел, тот, верю я, любит крестьянских детей...» («Крестьянские дети»).

«Русская женщина,— пишет Н. Скатов,— предстала в произведениях Некрасова во всем разнообразии своих судеб; она главная носительница жизни, выражение ее полноты, как бы символ национального существования». И как не припомнить здесь хрестоматийные строфы поэмы «Мороз, Красный нос»:

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивой силой в движениях,
С походкой, со взглядом царц,—

Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет — словно солнце осветит!
Посмотрит — рублем подарит!»

В игре ее конный не словит,
В беде — не сробеет,— спасет:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!

О таких строках можно сказать, что они не могли быть не написаны. Так говорит о себе сам народ.

Неоглядность и неоднозначность поэтического мира Некрасова сказались на самых различных, нередко противоположных направлениях русской литературы, поэзии. «Петербург Некрасова» предвосхитил творчество Блока, Брюсова, Белого, Маяковского. Некрасов «крестьянский» проложил дорогу опять-таки Блоку, Белому, Клюеву, а за ними и Есенину, и, конечно, Твардовскому; существует опыт Некрасова и для Рубцова, Тряпкина, Межирова, Евтушенко... Однако значение Некрасова в русской поэзии, в поэзии советской не сводится к отдельным «тематическим» линиям, да и имен можно назвать гораздо больше. Не меркнет и вдохновляет нас подвиг Некрасова в целом, подвиг гражданский и художнический. Советская поэзия наследует и продолжает высокие некрасовские традиции страстного служения народу, Родине.

Когда-то юноша Некрасов пришел с тетрадкой стихов в чужой, незнакомый Петербург с берегов родимой Волги. И недаром поэт со временем вспомнит другого русского мальчика, вспомнит и архангельского мужика, пришедшего в науку. Вспомнит и возрадуется: «Вот за что тебя глубоко я люблю, родная Русь!»

Навечно остался Некрасов в народной памяти, в сердце народном. Пришел и во времена, когда Родина проложила новую дорогу в грядущее. С нами вместе стоял Некрасов под Москвой в сорок первом, с нами торжествовал Победу...

Кто, служа великим целям века,
Жизнь свою всецело отдает
На борьбу за брата-человека,
Только тот себя переживет...

«ДОРОГА ДОЛГАЯ ЛЕГКА...»

А. БЛОК

(Шахматово и окрестности)

*Родина — это огромное, родное,
дышащее существо, подобное человеку...*

А. Блок

В череде живописных холмов, составляющих Клинско-Дмитровскую возвышенность, на противоположных высоких краях долины речки Лутосни, несущей свои воды через Истру и Дубну в Волгу, есть две лесистых горы, над которыми витает память о замечательных творцах русской культуры, чьи труды и вдохновения неотделимы от этих уголков Подмосковья.

Боблово и Шахматово соединяют в едином ландшафте имена выдающихся людей, причастных науке и литературе. Союз двух муз воплощен и в славной истории этих мест, и в их живом пространственном единстве, и в нашем сегодняшнем влечении к Стране Тревожных Холмов, как можно назвать целостность земли, куда мы сейчас отправимся.

Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнет упругие кусты,
Битый камень лег по косогорам,
Желтой глины скудные пласты.

Места эти в ближайшее к нам время «открыли» для культуры ученые. В 1865 году в Боблове, Клинского уезда, Московской губернии, приобрел имение Дмитрий Иванович Менделеев. С тех пор великий

русский химик живет и работает здесь каждое лето вплоть до 1906 года. Ученый ставил в Боблове опыты по агрохимии, вел метеорологические наблюдения. Дни его были наполнены неустанными занятиями. 7 августа 1887 года Менделеев совершил полет на воздушном шаре из Клина во время солнечного затмения. Накануне в Боблово к Менделееву приехал Илья Ефимович Репин, наблюдавший за полетом. Приезжал в Боблово и Архип Иванович Куинджи, любовался бобловскими далями, березовой рощей у Лутосни.

В статье «Перед картиною А. И. Куинджи» (1880) Менделеев говорил, что «...века наши будут когда-нибудь характеризовать появлением естествознания в науке и пейзажа в искусстве», ибо теперь «природа стала не рабом, не рамкой — подругой, равной человеку, женою мужу. И мертвая, бесчувственная, ожила перед глазами людей».

В истории этих мест рано наметился союз науки и искусства через познание природы, пейзажа, ландшафта. В 1874 году, по совету Д. И. Менделеева, скромное имение Шахматово, расположенное в шести верстах от Боблова, в том же Клинском уезде, приобрел его друг Андрей Николаевич Бекетов, выдающийся русский ученый-ботаник и передовой общественный деятель, профессор и ректор Петербургского университета, основатель Высших Женских курсов. С 1875 года Бекетовы проводят каждое лето в Шахматове. Природа Шахматова отразилась в книгах и статьях А. Н. Бекетова, написанных языком точным и вместе поэтическим. В Шахматове трудилась над художественными переводами жена А. Н. Бекетова — Елизавета Григорьевна, дочь ученого-естествоиспытателя и путешественника Г. С. Карелина. По примеру Е. Г. Бекетовой литераторами и переводчицами стали ее дочери — Екатерина, Александра (мать Александра Блока) и Мария. В Шахматове Бекетовыми выполнены многие научные и литературные работы, сохраняющие свое значение до наших дней.

Первой воспела Шахматово Екатерина Андреевна Бекетова. В 1895 году посмертно издан был сборник ее стихотворений. Из предисловия к этому изданию можно, в частности, узнать, что стихотворения поэтессы «написаны, в большинстве, среди природы, в деревенской обстановке имения Бекетовых, близ ст. Подсолнечной, Николаевской железной дороги, в котором Екатерина Андреевна обыкновенно проводила лето и начало осени». В поэзии Екатерины Бекетовой живет и благоухает Шахматово. На ее стихотворение «Сирень» («Поутру, на заре...») С. В. Рахманиновым создана музыка романса, ставшего широко известным и звучащего нередко до сих пор. Таков пролог истории блоковского Шахматова.

Нас интересует сейчас Шахматово в жизни и поэзии Александра Блока. Но без такого пролога, восходящего и к науке и к поэзии, нет истоков блоковского Шахматова. Природа выступала перед поэтом и в своей живой красоте, и в красоте разума, понимающего природу. А. Н. Бекетов открыл внуку окрестности Шахматова, часами странствуя

с ним по лугам, болотам и дебрям на десятки верст, выкапывая с корнями травы и злаки для ботанической коллекции, называя растения и обучая его начаткам ботаники. Научные представления А. Н. Бекетова, его книги «Гармония в природе», «География растений», «Беседы о Земле и тварях на ней живущих», гуманистические взгляды ученого оказали глубокое влияние на Александра Блока. Образ деда в его памяти связывался особенно тесно с Шахматовом.

В Шахматове нередко бывал и брат А. Н. Бекетова — Николай Николаевич Бекетов, выдающийся русский физико-химик, академик. Вообще в окружении Блока ученые занимали важное место. Поэт видел в Д. И. Менделееве мощное воплощение гения России. Периодическая система элементов знаменовала для поэта торжество космоса над хаосом, научное постижение гармонии и музыки природы. Идеи Д. И. Менделеева и А. Н. Бекетова о развитии науки и производительных сил России отозвались в стихотворении Блока «Новая Америка», в замыслах и раздумьях поэта о судьбах родной страны. Биографически зримо такое единство поэзии и науки закрепляло для Блока и Шахматово.

Хорошо сказал о Шахматове Сергей Соловьев, троюродный брат Александра Блока и племянник поэта-философа Владимира Соловьева. По его словам, Шахматово — «гнездо, из которого вылетел лебедь новой русской поэзии». Понятие культурного гнезда чрезвычайно существенно и во многом объясняет исторические корни творческой преемственности. Блок был убежден, что «проникаться культурным влияниям — дело очень сложное и не личное только (то есть одних личных усилий и личной любви к культуре для этого мало), культура должна быть в крови...» Высказывание поэта, безусловно, автобиографично. Несомненна и связь бекетовско-блоковской культуры с Шахматовом. Биограф поэта, его тетка М. А. Бекетова пишет: «Летом собиралась в Шахматове вся семья, составляя некую стуженную атмосферу, особенно сильно влиявшую на Блока». Будущий поэт рос среди людей, для которых имена классиков русской литературы были не только книгами. Прабабушка Блока — А. Н. Карелина, первой принявшая его на руки 28 (16) ноября 1880 года, помнила Пушкина, Дельвига, Боратынского. А. Н. Бекетов дружил с братьями Достоевскими, Тургеневым, Салтыковым-Щедриным. Е. Г. Бекетова также была знакома с братьями Достоевскими, встречалась с Гоголем, Ап. Григорьевым, Л. Толстым, Полонским. В бекетовской семье, говорит Блок, «господствовали, в общем, старинные понятия о литературных ценностях и идеалах».

Бекетовское Шахматово соединяло Блока с традицией русской лирики природы и любви, лирики, звучавшей лично и всемирно, социально и философски, космически и патриотически — в целостном переживании жизни как мига бессмертия. «Первым вдохновителем моим был Жуковский», — отмечает Блок в автобиографии. Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Фет открывались Блоку не школьно, а в атмосфере бекетовского дома. Первой ввела Блока в мир русской поэзии его мать, Александра Андреевна. Шахматово навсегда осталось для Блока

интимным символом дома и сада поэзии. И памятью о «лирических волнах», «набегавших» на будущего поэта «с раннего детства» (по его словам), и начальными встречами с поэзией и природой. Едва ли не первые с детства запомнившиеся строки (из стихотворения Полонского), которые приводит в автобиографии Блок, дышат Шахматовом: «От зари рокошный холод проникает в сад».

Семья, где родился и вырос Александр Блок, по происхождению связана со среднерусскими краями. В 1842 году предки поэта Г. С. и А. Н. Карелины приобретают имение Трубицино под Москвой (впоследствии в Трубицине побывает и юный Блок). В 1853 году А. Н. Бекетов познакомился в Трубицине с Е. Г. Карелиной, в 1854 году они обвенчались в селе Тишкове. Только с начала 60-х годов Бекетовы обосновываются в Петербурге, но не теряют своих московских корней. За несколько лет до рождения будущего поэта в жизнь его родных и близких входит Шахматово — скромная усадьба, приобретенная ради деревенской жизни. Александр Блок родился в Петербурге, а уже на следующее лето, шестимесячным младенцем, был привезен в Шахматово. С тех пор Петербург и Шахматово неразделимы в судьбе поэта. Редкий факт в истории литературы, почти небывалая привязанность писателя к одному месту: Блок приезжает в Шахматово ежегодно в течение тридцати шести лет (1881—1916 годы). Шахматово становится не просто местом летнего отдыха и работы, пусть даже очень любимым, местом написания многих произведений, но постоянной жизненной и поэтической темой, непрерывной сюжетной линией всей биографии (наряду с Петербургом).

М. А. Бекетова, как известно, создала обширное повествование «Шахматово. Семейная хроника». Биограф поэта напоминает, что в первые несколько лет своей жизни, когда «складывается наиболее прочный фундамент телесного и духовного человека, маленький Блок проводил три или четыре месяца в условиях шахматовской природы и быта, и, разумеется, эти годы и положили основание той любви к природе и русской деревне, которая так характерна для его поэзии».

Писательница полагает, что отношение Блока к России «родилось среди русской деревни» и что «это представление о России, неизменно связанное с картинами русской деревни и русского крестьянства, могло возникнуть и окрепнуть только в Шахматове». Имея в виду значение этих впечатлений для формирования социального пафоса, гражданственности Блока, М. А. Бекетова показывает, что «Шахматово не только радовало, но и учило поэта».

Шахматово и Петербург — два блоковских «окна в Россию», «теза» и «антитеза», равно присущие поэту. Между ними катятся волны «музыкальных» стихов Блока.

В Шахматове возникли первые любительские литературные и те-

атральные начинания Блока; здесь встретил он свою невесту, и здесь стала она его женой; здесь родилась его песнь России. Об этих местах Блок писал в 1921 году в набросках продолжения поэмы «Возмездие»: «И всей весенней красотой сияет русская земля...» В варианте: «московская земля». Земля эта стала в значительной мере прообразом «России Блока».

17-летний Блок, отвечая на вопрос семейной анкеты: «Место, где я хотел бы жить», — произносит одно слово: «Шахматово». С детства помнит он «благоуханную глушь» этого подмосковного уголка и уверен: «нет места, где бы я не прошел без ошибки ночью или с закрытыми глазами». В одной из автобиографий среди «главных факторов жизни и творчества» поэт называет такие: «петербургские зимы и прекрасная природа Московской губернии». И когда Блок уже не ездил в Подмосковье, он записывает: «Снилось Шахматово...»

Поэт жил в центре общественной жизни России, но в Петербурге с ним всегда было Шахматово. Он возвращался на берега Невы, обогащенный знанием народной жизни и русской природы, а в Шахматово с ним был Петербург, воплощавший великие традиции русской культуры, русского освободительного движения. На скрещении, сопоставлении этих впечатлений зрела дума поэта — «все об одном».

Блоковская тема России в полный голос впервые прозвучала в Шахматове: «Выхожу я в путь, открытый взорам...» Это стихотворение «Осенняя воля», под которым отмечено: «Июль 1905. Рогачевское шоссе». Первая русская революция распахнула перед поэтом «дали необъятные».

В 1908 году осенью в Шахматове начато стихотворение «Россия», довершенное в Петербурге. Звучит поэтическая формула веры в народ и страну: «И невозможное возможно, дорога долгая легка...» В то же лето в Шахматове начат цикл «На поле Куликовом». Здесь явились слова о подвиге Родины: «И вечный бой! Покой нам только снится...»

Рукопись поэмы «Возмездие» имеет пометку: «Начато в июне 1910 под Руновым на камне». Руново — окрестности Шахматова... В том же году в Шахматове написано стихотворение «На железной дороге». Этот перечень легко продолжить и трудно оборвать... И закономерно, что шахматовский «звук» столь важен в произведениях, которыми Блок страстно и радостно отзывался на Октябрьскую революцию.

И в Петербурге, и в Шахматове, в воспоминании и наяву Блок не расстается с полем, лесом, лугом, цветами, со всем живым миром природы, ее грозами, небесами, светом и дождями, с летящим над холмами белым конем, с преданным псом, с тихим садом и бесконечными даями. Это в каждой строке его поэзии и прозы, во всей ее образности...

«...Шахматово и было второй — духовной родиной Блока, родиной его поэтического самосознания», — пишет П. А. Журов, побывавший в Шахматове в 1924 году.

Таково главное, что можно сказать о блоковском Шахматове. Но

мы должны сами повидать это место и его окрестности... «Земля ведь многое объясняет»,— говорил Блок.

Над нами будет витать одно постоянное воспоминание...

В густой траве пропадешь с головой,
В тихий дом войдешь, не стучась...
Обнимет рукой, оплетет косой
И, статная, скажет: «Здравствуй, князь...»

Блоковские места расположены в основном на территории Солнечногорского, Клинского и Дмитровского районов Московской области.

Блок писал, что «земля — искони мать и владычица всякого цветения, в том числе и поэзии». Земля поэта...

Дорога в Шахматово, дорога к Блоку связана с героической историей нашей Родины. Мы видим эту связь не только во времени, но и в пространстве, в кровном единении с подмосковной землей.

Окинем одним взором памятные места в ближних и дальних окрестностях Шахматова, на северо-западе Подмосковья, между Ленинградским и Рогачевским шоссе. Эпохи, события, имена насыщают земной ландшафт историй.

Древний русский город Клин, упоминаемый с 1234 года... Старинное торговое село Рогачево... Николо-Пешношский монастырь, основанный в XIV веке... Старинное торгово-промышленное село Солнечная Гора, ныне город Солнечногорск... В этих подмосковных краях русские люди живут издавна.

Любопытно, что здесь есть деревня Шахматово, отстоящая не меньше чем на двадцать километров от блоковского Шахматова. Название это известно с XVII века.

В усадьбе Болдино жил и работал государственный деятель, географ и историк В. Н. Татищев, сподвижник Петра I. Похоронен ученый в двух с половиной километрах от усадьбы — на погосте Рождественском.

По Ленинградскому шоссе нас не может не остановить название, звучащее как глава книги А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»: Черная Грязь. Вот в это, правда, теперь уже перестроенное здание бывшей почтовой станции входили и Радищев, и Пушкин, и Гоголь, и Белинский, и Герцен...

В нескольких километрах от шоссе — Средниково, где в 1829—1831 годы жил и писал М. Ю. Лермонтов... Здесь первый исток стихотворения «Бородино»...

По Рогачевскому шоссе — село Подъячево, в прошлом Никольское-Обольяново, где не раз бывал Л. Н. Толстой, начавший здесь работу над романом «Воскресение». Переименовано село в память крестьянского писателя С. П. Подъячева, который здесь родился, жил и умер (похоронен на местном кладбище).

В Демьянове, под Клином, усадьба философа и социолога В. И. Танеева, одного из первых русских марксистов, брата композитора С. И. Танеева. Здесь бывали композитор А. Н. Скрябин, ученый К. А. Тимирязев...

Славен Дом-музей П. И. Чайковского в Клину. Композитор жил здесь в 1892—1893 годы. Вот в этом доме созданы Шестая симфония, балет «Щелкунчик»...

В Солнечногорске сохранились остатки большого Екатерининского канала, построенного в 1825—1850 годы и соединявшего реку Москву с Волгой через реки Большая Истра и Сестра. Подпрудженная Сестра разлилась, и так возникло огромное озеро Сенеж (на месте небольшого озера и речки Мазихи).

В 1898 году на берегу Сенежа, у деревни Тимоново, в имении Богородское, жил И. И. Левитан. «Живу я здесь в великолепном месте: на берегу, очень высоком, громадного озера. Кругом меня леса, а озеро кишит рыбой... Здесь на редкость хорошо», — писал художник А. П. Чехову, который в августе навестил друга. В юности своей приезжал на Сенеж Владимир Маяковский.

Места эти любил В. И. Ленин. В 1919 году Владимир Ильич отдыхал несколько дней в Середникове. В 1919—1921 годы В. И. Ленин бывал в Елине, Дулепове, Морозовке, на Сенеже, Солнечной Горе.

Многие здания, музеи, монументы на нашем пути хранят славную память о революционной, боевой и трудовой истории Подмосковья. Нас встречают памятники народного подвига в Великой Отечественной войне. Здесь были остановлены фашистские полчища, рвавшиеся к Москве...

И все это земля поэта, жившего историей и современностью, носившего в своем сердце судьбу России...

Подъезжаем к молодому городу Зеленограду, близ станции Крюково... Блок побывал в Крюкове в 1917 году, когда он навещал в подмосковном санатории свою мать. В юности Блок гостил в имении Дедово, находившемся в нескольких верстах от Крюкова, у М. С. и О. М. Соловьевых. Причастные литературе и искусству, они способствовали поэтическому дебюту Блока...

Солнечногорск... Здесь сохранилось здание дореволюционной станции Подсолнечной, откуда поэт уезжал в Петербург. Биографически с Подсолнечной связано стихотворение Блока «На железной дороге».

В июле 1914 года на станции Подсолнечная произошла неожиданная встреча Александра Блока с Анной Ахматовой, которая ехала в Слепнево, что под Бежецком, на тверской земле... В усадьбе Слепнево Анна Ахматова и Николай Гумилев жили в 1911—1917 годы...

Неподалеку от озера Сенеж сворачиваем на Таракановское шоссе, по которому Блок из года в год добирался до Шахматова... «И вьзнут спицы росписные в расхлябанные колеи...» Конечно, все здесь изменилось неузнаваемо... Рядом с шоссе находится средняя школа имени Блока; в саду бронзовый бюст поэта (скульптурный портрет работы

И. Александровой). В школьном музее — подлинные вещи из блокового Шахматова...

У деревни Сергеевка, в редком придорожном лесу, озеро Бездонное, легенду о котором записал Блок. Крестьяне утверждали, что это «отдушина океана», что у озера «нет дна» и на поверхность «иногда всплывают доски с иностранными надписями — обломки кораблей». Блок говорит об этой легенде в статье «Стихия и культура», где он пишет и о других местных верованиях, например, о том, что, «когда ветер ночью клонит рожь, — это «Она мчится по ржи» (то есть какая-то неведомая сила). Народная мифология отразилась и в работе Блока «Поэзия заговоров и заклинаний», в его стихотворении «Русь». Окрестности Шахматова были для Блока в ореоле чудесного.

Ты и во сне необычайна,
Твоей одежды не коснусь.
Дремлю — и за дремотой тайна,
И в тайне — ты почиешь, Русь...

С холма деревни Сергеевка виден холм деревни Ново (здесьняя легенда связывает с бывшей барской усадьбой Неклюдовой события, напоминающие сюжет толстовского «Воскресения», и еще недавно в старом перестроенном доме показывали «комнату Катюши Масловой»). Вот деревни с «некрасовскими» именами Бедово, Мерзлово... В этих местах в 1924 году П. А. Журов разыскал часть шахматовской библиотеки Бекетовых — Блока и составил ее опись. Опись поможет со временем восстановить библиотеку поэта в Шахматове.

От деревни Сергеевка начинается характерный блоковский ландшафт, о котором никто, кажется, не сказал лучше Андрея Белого, побывавшего в Шахматове в 1904—1905 годы. Здесь, по словам писателя, «пейзаж резко меняется, становится красивее, менее уютным, более диким, лесным и более гористым... Здесь чувствуется как бы борьба, исключительность, напряженность...» «Здесь, в окрестностях Шахматова, что-то есть от поэзии Блока; и даже: быть может, поэзия эта воистину шахматовская, взятая из окрестностей; встали горбины, зубчатые лесом; напряжались почвы и врзались зори», «и веял ландшафт строчкой Блока»; «и точно рабочая комната — эти леса и поля». Есть у Белого в его воспоминаниях о Блоке и такое определение: «Шахматовские поля и закаты — вот подлинные стены его рабочего кабинета».

Этот «рабочий кабинет» Блока виден во все стороны из села Тараканова, от прицерковного пруда.

Там неба осветленный край
Средь дымных пятен.
Там разговор гусятин стай
Так вятен.

На горизонте, на другом берегу речки Лутосни, огромный темный холм, над которым алеют закаты. Это — Боблово. «Там, над горой Твоей высокой, зубчатый простирался лес». Вокруг этого холма словно бы веют волны «Стихов о Прекрасной Даме». Там жила Любовь Дмитриевна Менделеева...

Прямо перед нами, за аладынской горой, также одной из самых высоких в округе, начинается блоковский «путь, открытый взорам». Новоселки, Рогачево, Боблово, Покровское, Ивлево, Семеновское, Сафоново, Лукьяново... «И бесконечная даль, и шоссеиная дорога, и все те же несбыточные, щемящие душу повороты дороги...» — писал Блок об этих местах. Здесь началась его песнь России.

За спиной у нас, километрах в трех, еще одна грандиозная высота: Руново. Здесь начата поэма «Возмездие». В Рунове сложились слова, к которым восходит и стихотворение «Россия», и концовка статьи «Судьба Аполлона Григорьева»: «...и все это величаво, и торжественно до слез: это — наше, русское».

Справа — тропа в Шахматово, всего два-три километра. Мы идем по краю чаши, окаймленной лесом, и нас провожают холмы, деревни, дали на другом берегу Лутосни. Вот, думаем мы, лучший памятник поэту. А само Шахматово — тихая заросль на холме, «возлюбленная поляна», и снова дали. Как сказал Владимир Солоухин, «Большое Шахматово», то есть вся округа, весь простор, весь горизонт земли и неба.

Вот оно, мое веселье, пляшет
И звенит, звенит, в кустах пропав!
И вдали, вдали призывно машет
Твой узорный, твой цветной рукав.

«В эту минуту перед нами открывалась многоверстная синяя русская даль. Сначала шли лощины, поросшие кустами и лесом, за ними начинали подниматься холмы, к вершинам которых, увенчанным деревьями и селами, сбегались разбежавшиеся внизу полосы хлебных полей. Местами среди холмов открывались еще просветы, совершенно синие, в которых изредка белели пятна, обозначающие собой церкви». Снова дорога... «Я пустился по ней и, достигнув ее высшей точки, очутился перед новой громадной далью, которая открывала передо мной новые равнины, новые села и новые церкви». Такова сжатая характеристика этого ландшафта, данная Блоком в рассказе «Исповедь язычника».

А в предсмертных строках поэмы «Возмездие» Блок в последний раз вспомнит:

И дверь звенящая балкона
Открылась в липы и в сирень,

И в синий купол небосклона,
И в лень окрестных деревень...

Белеет церковь над рекою,
За ней опять — леса, поля...
И всей весенней красотой
Сияет русская земля...

Шахматово само по себе — всего лишь укрытое лесом уютное место на холме, где не сохранилось ни одного строения. «Сквозь цветы, и листья, и колючие ветки, я знаю, старый дом глянет в сердце мое...» И мы мечтаем, что этот дом действительно глянет на нас однажды из леса. И мы повторим: «Огромный тополь серебристый склонял над домом свой шатер, стеной шиповника душистой встречал въезжающего двор...» Только это будет уже не в воспоминании, а наяву.

Для осознания роли Шахматова в судьбе и поэзии Блока, во всей русской культуре нет необходимости перечислять множество названий произведений, начатых, задуманных здесь или вдохновленных Шахматовом. Достаточно вспомнить, что здесь начат хотя бы цикл «На поле Куликовом», что здесь родилось крылатое: «И вечный бой! Покой нам только снится...»

И потому лесная и полевая тропа в Шахматово зовется тропой к Блоку... Что же еще?..

...еще леса, поляны,
И проселки, и шоссе,
Наша русская дорога,
Наши русские туманы,
Наши шелесты в овсе...

«ПРАВДА ОСТАНЕТСЯ...»

А. ТВАРДОВСКИЙ

(«По праву памяти»)

В жизни нашей литературы, в нашей духовной жизни произошло важное, значительное событие: опубликована поэма Александра Твардовского «По праву памяти» (февральская книга журнала «Знамя» за 1987 год и мартовская за тот же год книга «Нового мира»).

Поэмы Твардовского занимают в его творчестве станое, связующее место, определяя веки развития поэта и времени, скрепляя пережитое масштабами эпического обобщения. Путь и память — ключевые понятия этого художественного и нравственного мира. И в истории отечественной поэзии, и в общественной жизни поэмы Твардовского всегда были этапными событиями. Вспомним «Страну Муравию», «Василия Теркина», «Дом у дороги», «За далью — даль»... В каждой из них — эпоха народной жизни, народного подвига.

И вот «По праву памяти»... В редакционном предисловии отмечает-ся, что Александр Трифонович Твардовский работал над поэмой в 1966—1969 годах. Это произведение, мыслившееся первоначально автором как одна из «дополнительных» глав к поэме «За далью — даль», приобрело в ходе работы самостоятельный характер. И так, перед нами — «лирическая поэма, последняя поэма автора «Василия Теркина». Она была закончена и подготовлена им самим к печати за два года до смерти».

Горько думать, что Твардовский при жизни не увидел своей последней поэмы опубликованной. И мы, современники, литераторы, все, кто следил за развитием поэзии, помним и знаем, что это унижительное обстоятельство явилось одной из смертельных ран, нанесенных поэту, гордая душа которого не вынесла тяжелых обид последних лет. Публикация поэмы «По праву памяти» почти через двадцать лет после ее написания — это обвинение тем, кто хотел заставить молчать поэзию и память.

Забуть, забыть велят безмолвно,
Хотят в забвенье утопить
Живую быть. И чтобы волны
Над ней сомкнулись. Быль — забыть!

Забуть родных и близких лица
И столько судеб крестный путь —
Все то, что сном давнишним будь,
Дурною, дикой небылицей,
Так и ее — поди, забудь.
Но это было явной былью
Для тех, чей был оборван век,
Для ставших лагерьною пылью,
Как некто некогда изрек.

Поэт был верен правде, ленинской правде; он шел от решений и пафоса XX и XXII съездов партии, вскрывших беззакония, которые творились под знаком культуры Сталина; он шел от правды лично пережитого и выстраданного. Твардовский шел, не сгибаясь, вопреки набравшей силу тенденции второй половины шестидесятых годов — попытать-

ся предать забвению «стольких судеб крестный путь». В итоге это оказалось, как мы видим, невозможно, хотя установка — «в забвенье утопить живую быль» властно преграждала путь правде. Партия, народ вновь нашли в себе достаточно нравственной энергии, мужества, чести, чтобы вернуть права бессонной памяти и несмолкающей совести. И поэма Твардовского прорвалась к нашим дням, к нашему времени, зазвучав в единстве с нашим сегодняшним устремлением — к ленинской открытости:

Спроста иные затвердили,
Что будто нам про черный день
Не ко двору все эти были,
На нас кидающие тень.

Но все, что было, не забыто,
Не шито-крыто на миру.
Одна неправда нам в убыток,
И только правда ко двору!

Радостно думать и знать, что мы произносим сегодня эти слова открыто, как наш общественный девиз, хотя горько сознавать, что слишком долго ждали честные строки живой, гласной встречи с читателем, с народом... Ведь и судьба поэта, неотделимая от судьбы страны, сложилась так, что должны были пройти годы, десятилетия, прежде чем удалось «немую боль в слова облечь». Осознать, воплотить, произнести...

Ту боль, что скрытно временами
И встарь теснила нам сердца,
И что глушили мы громами
Рукоплеканий в честь о т ц а.

Еще в поэме «Страна Муравия», мы помним, простерта «надо всей страной — рука, зовущая вперед». И в той поэме от души исповедуется, наивно вопрошает крестьянин Никита Моргунок:

— Товарищ Сталин!
Дай ответ,
Чтоб люди зря не спорили:
Конец предвидится ай нет
Всей этой суетории?..

И жизнь — на слом,
И все на слом —
Под корень, подчистую,

А что к хорошему идем,
Так я не протестую.

Так, быть может, размышлял и отец поэта на своем хуторе Загорье... «И жизнь — на слом, и все на слом — под корень, подчистую». О том, как драматически неумолимые события перевернули судьбы семьи поэта, с потрясающей силой и обнаженностью говорит поздний (1965 года) цикл «Памяти матери»:

В краю, куда их вывезли гуртом,
Где ни села вблизи, не то что города,
На севере, тайгою запертом,
Всего там было — холода и голода.

В поэзии Твардовского эта тема большей частью присутствует затаенно, как «немая боль», пропитавшая собой, в сущности, многие его строки, и военные, и послевоенные... Сегодня это яснее, ощутимее, понятней... При жизни поэта для нас, читателей-современников, тема трагической памяти тридцатых годов программно зазвучала в поэме Твардовского «За далью — даль» (окончена в 1960 году), особенно в главах «Друг детства» и «Так это было».

Нелегко, исподволь, мучительно, но неуклонно пробивается эта неизбывная тема:

Я не скажу, что в ней отрада,
Что память эта мне легка.
Но мне свое исполнить надо,
Чтоб вдаль глядеть наверняка...

Твардовский подчеркнет: «Мне правда партии велела всегда во всем быть верным ей». В главе «Так это было» поэт стремится разобраться в сложных чувствах и думает, какие вызывает теперь образ Сталина:

Так это было: четверть века
Призывом к бою и труду
Звучало имя человека
Со словом Родина в ряду.

Поэт не снимает ответственности и с себя за культ «грозного отца»:

О том не пели наши оды,
Что в час лихой, закон презрев,
Он мог на целые народы
Обрушить свой верховный гнев...

Вместе с тем достоинство и честь подлинной памяти не позволяют поэту легко, бездумно, с ходу отречься от того, что целую эпоху было samozабвенной верой: «И под Москвой, и на Урале — в труде, лишенных и борьбе — мы этой воле доверяли никак не меньше, чем себе». Снова и снова поэт повторяет: «Тут ни убавить, ни прибавить, — так это было на земле».

Твардовский не раз возвращался к тексту главы «Так это было». И это не являлось простой стилистической редактурой. Мысль поэта продолжала работать, тема углублялась, образ эпохи усложнялся, драматизировался.

Поэма «По праву памяти» возникает на волне раздумий, связанных так или иначе с главами поэмы «За далью — даль», с поэмой «Теркин на том свете», с циклом «Памяти матери», со всей лирикой Твардовского последних лет.

Стихотворение «На сеновале», опубликованное впервые в 1969 году, датированное 1967 годом, становится первой главой поэмы «По праву памяти» и называется «Перед отлетом». По-иному теперь в контексте поэмы читается рассказ о деревенских юношах, которые готовятся уехать в Москву учиться и не догадываются, «что здесь, за нашу спиной, сорвется с места край родной и закружится в хороводе вслед за метлицей сплошной...»

«По праву памяти» — это дальнейшее углубление темы, заявленной в главах поэмы «За далью — даль». И по тональности, по интонации последняя поэма Твардовского ощутимо отличается от «За далью — даль». Тема памяти звучит суровее, строже; сказывается и то, что Твардовский пишет в изменившейся общественной атмосфере, когда пыталось восторжествовать забвение, и то, что тема взята во многом автобиографично, лично, исповедально.

«Сын за отца не отвечает» — называется центральная глава поэмы. Но ведь речь поэт ведет и о себе, и о своем отце. И о тысячах таких же сыновей и отцов... Мучительно трудно прорваться к такой откровенности, к такой обобщенности, в сердце которой судьба твоей семьи...

О годы юности немиллой,
Ее жестоких передраг.
То был отец, то вдруг он — враг.
А мать?
Но сказано, два мира,
И ничего о матерях...

И здесь, куда — за половодьем
Тех лет — спешил ты босиком,
Ты именуешься отродьем,
Не сыном даже, а сынком...

А как с той кличкой жить парнишке,
Как отбывать безвестный срок,—
Не понаслышке,
Не из книжки
Толкует автор этих строк...

Название главе дала «высочайшая» формула, все лицемерие которой обличает поэт, знающий — «не понаслышке» — цену деспотическому великодушию. Ведь за ним скрываются произвол, трагедии, массовые беззакония:

Пять кратких слов...
Но год от года
На нет сходили те слова,
И званье сын врага народа
Уже при них вошло в права.

И за одной чертой закона
Уже равняла всех судьба:
Сын кулака иль сын наркома,
Сын командарма иль попа...

Клеймо с рожденья отмечало
Младенца вражеских кровей.
И все, казалось, не хватало
Стране клейменных сыновей.

Нет, забыть такое невозможно, нельзя. Да и неверно было бы нам отворачиваться от мрачных страниц собственной истории. «Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу...» — убежден поэт. Но каким образом зло оказалось столь сильным? Надо взглянуться в историю, чтобы понять: зло выдавало себя за добро, подстраивалось к имени Ленина...

И, грубо сдвоив имена,
Мы как одно их возглашали
И заносили на скрижали,
Как будто суть была одна.

Ленинские принципы и исторический опыт — вот «надежная мерка», «чтоб с правдой сущей быть не врозь».

В заключение поэт возвращается мыслью к тем молодым людям, которые когда-то собирались покинуть родную деревню. «...Ну что ж,

СО Д Е Р Ж А Н И Е

«Родина русской поэзии...» <i>В. Жуковский</i>	3
«О сердце, полное тревоги...» <i>Ф. Тютчев</i>	12
«Я лиру посвятил народу своему...» <i>Н. Некрасов</i>	24
«Дорога долгая легка...» <i>А. Блок</i> (Шахматово и окрестности)	32
«Правда останется...» <i>А. Твардовский</i> («По праву памяти»)	41

Станислав Стефанович ЛЕСНЕВСКИЙ

ЗЕМЛЯ ПОЭТА

Редактор А. Басманов

Технический редактор Т. Е. Авдеева

Сдано в набор 24.04.87. Подписано к печати 10.07.87. А 05102. Формат 70 × 108¹/₃₂.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.
Учетно-изд. л. 2,93. Усл. кр.-отг. 2,28. Тираж 80 000 экз. Изд. № 2016. Заказ № 584.
Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

**ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,
знаете ли вы, что такое ДЮП?**

**ЭТО: ДРУЖИНА
ЮНЫХ
ПОЖАРНЫХ.**

А ЧЕМ ОНА ЗАНЯТА?

● Кто в детстве не мечтал стать пожарным с медной каской на голове? Почти каждый. А мечты могут стать былью. Стоит только поступить в ДЮП. В дружину принимают всех школьников от 10 до 17 лет.

● Дружины юных пожарных создаются с целью воспитания у школьников мужества, гражданственности, находчивости, бережного отношения к социалистической собственности, коллективизма и творчества, а также физической закалки, профессиональной ориентации.

● Члены ДЮП проводят профилактические работы по предупреждению пожаров, особенно от детской шалости с огнем, оказывают помощь взрослым при тушении пожаров и пострадавшим от пожара. Оберегают младших. Участвуют в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту.

**Центральный совет Всероссийского
добровольного пожарного общества**